

Елена Замојска

Тридцать лет назад...

Studia Rossica Posnaniensia 24, 61-65

1993

Artykuł został zdigitalizowany i opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД...

THIRTY YEARS AGO...

ЕЛЕНА ЗАМОЙСКА

АБСТРАКТ. The memories of the author show that the most important factor strengthening her relationship with Pasternak was his religiosity. This was expressed in conversations and letters of Pasternak.

Helena Zamoyska, Maison St. Jean 51, rue de St. Lys, Saint Clar de Riviera, 31600 Muret, France.

30 лет тому назад... Маленький городок Прад у подножья Пиренеев. Озаренная солнцем церковь наполняет наши глаза и сердца гармонией пропорций. Мы, то есть мой муж, его друг, польский философ, замечательный специалист по эстетике, профессор Татаркевич, и я – мы любуемся окружающей нас красотой и медленно возвращаемся к машине. По дороге мне вдруг бросается в глаза объявление перед киоском, вызывая острую боль: „Знаменитый поэт Борис Пастернак умер”. Вот чего я боялась все последние дни. Но неужели это правда? И сразу всплыли воспоминания.

1946 год. Я только что приехала в Москву, вместе со своим отцом, морским атташе при французском посольстве. Первый раз попала на дипломатический прием в гостиницу Метрополь. Я еще никого не знала. Подошел ко мне и пригласил танцевать молодой дипломат, секретарь польского посольства. Оказалось, что он увлекался русской литературой, особенно поэзией. Узнав, что я люблю русскую литературу, он спросил меня: „А как вы относитесь к поэзии Бориса Пастернака? Не знаете его? Разве это возможно. Он самый замечательный поэт нашего времени. И он стал читать его стихи с таким восторгом, что я, хоть и не все восприняла на слух, решила, что обязательно достану стихи этого поэта. На следующий день пошла в букинистический магазин, недалеко от МХАТа. Мне повезло, нашла сборник его стихотворений, изданный в 1936 году. Нельзя сказать, что сразу была покорена. Его поэзия мне показалась сложной. Попозже, когда поступила в МГУ, я так его и не изучила, поскольку программа советской литературы не включала Пастернака. Мои друзья говорили, будто он выступал перед восторженной публикой, кажется, в 1946 году в Москве. Долгое время о нем ничего не было слышно. Когда же началась борьба против космополитов, то молчание, естественно, продолжалось...

Прошли годы. Умер Сталин. Началась оттепель. XX съезд создал новую атмосферу. Благодаря стипендии, я опять попала в Москву на два месяца в сентябре 1956 года. Жила в общежитии МГУ. Там завязала знакомство с разными студентами. Один из них как-то заговорил о последних стихах Бориса Пастернака: „Представьте себе, очень странные стихи – на религиозные темы. Это совсем непонятно в наше время. И что еще более удивительно – что он смеет писать на такие темы очень простым, даже каким-то домашним языком! А я думал, что надо обязательно писать на старославянском языке, если речь идет о Христе. Это совсем новое явление в нашей литературе. Я слушала его с большим интересом. Он тогда передал мне текст, напечатанный на машинке. Это были стихи *Доктора Живаго*. Они меня потрясли до такой степени, что я сразу написала автору и попросила о свидании. Через несколько дней получила от него приглашение приехать в Переделкино, где он жил на даче.

Я была весьма взволнованна. Его поэзия меня восхищала, но – кто знает – может быть, буду разочарована поэтом. Напрасные выдумки. Он меня принял так сердечно и тепло, будто знал меня с детства. Он вполне соответствовал духу своих стихов.

В его стихах меня пленила не только красота ритма и образов, а что-то более глубокое: в них выражалась тайная духовная жизнь, так глубоко скрытая автором, что о ней можно было только догадаться. Да, стихи Бориса Пастернака были самым тесным образом связаны с корнями русской христианской жизни, им была совершенно чужда шумиха громких лозунгов, заполнившая как действительность, так и искусство.

Я так ему и сказала. Лицо его просветлело, и разговор сразу завязался. Говорил он вполне откровенно, без оглядки, хотя видел меня, иностранку, в первый раз. Тут я вспомнила выражение любимого мною французского писателя Бернаноса, который так ценил в людях „дух детства” или, лучше сказать, „детскость”, то есть непосредственность и доверие. После атмосферы крайней „бдительности” встретить полное отсутствие страха казалось почти чудом.

Что сказать о моем удивлении, когда во время беседы он стал говорить о своем романе *Доктор Живаго* и предложил мне прочитать его: „Написать только литературное произведение не было моей главной целью. Знаю, что с этой точки зрения роман далек от совершенства. В нем длинноты, слишком много философских рассуждений. Так получилось из-за обстоятельств. Это часть моей жизни. В него я вложил свои искания как человек, а не как писатель. Я стремился выразить свою эпоху. Прочитайте, пожалуйста, хочу узнать ваше мнение о нем”. И он мне передал синюю рукопись, перепечатанную на машинке.

Я вернулась в общежитие вне себя от волнения и бросилась читать роман. Мне кажется, что залпом прочитала его – не помню, сколько времени. Голова кружилась от вихря впечатлений.

Я так привыкла к литературе соцреализма, созданной знаменитыми „инженерами человеческих душ“, что не верила своим глазам. Я чувствовала, что тут родилась новая литература, вполне современная и в то же время как-то глубоко родная, русская. Я была захвачена исторической фреской, ритмом, тонкостью языка и чувств, но особенно меня потряс дух романа: из глубины эпохи вырвался поток жизни во всех ее проявлениях. Настоящая жизнь, реальная, полная, противоречивая, а не абстрактное идеологическое представление реальности. К тому же после долгих лет, проведенных под знаком железного занавеса замкнутости и недоверия, жизнь по Пастернаку значила общение: опять установились связи между прошлым и настоящим, между человеком и природой, между народом и интеллигенцией, между людьми, несмотря на то, что эпоха разрушала именно эти связи.

Пастернак показал жизнь не в розовых тонах, а на фоне трагических потрясений истории России XX века. Он не идеализировал людей, не считал своих героев „отрицательными“ или „положительными“. Но даже для слабых людей жизнь не является пассивностью перед действительностью или послушанием идеологии; она и есть обновление всего, тяготение к высшему в личном и в общественном плане. Тут звучал христианский дух. После стольких лет упрощенного марксизма и насильственной планификации умов, это было настоящее чудо. И чудо выражалось через восприятие артиста, который вливал в прозу ритм и музыку поэзии¹.

Были и другие встречи. В Переделкине у Бориса Леонидовича в семейной, теплой обстановке я встречала писателей, артистов. Не забыла горячих разговоров Пастернака с Фединым, с Всеволодом Ивановым. Перед моими глазами стоит сосредоточенное лицо молчаливой Анны Ахматовой, когда Борис Пастернак читал свои новые стихи. Потом играл Святослав Рихтер. Нельзя представить себе дом Пастернака без музыки. Помню, как мы встречали новый 1958 год. Чувствовал ли он, что скоро обрушится на него поток грязи и ненависти после присуждения ему Нобелевской премии?

Он внимательно следил за всеми проявлениями оттепели. Слышу еще, как во время одной из наших последних встреч он рассуждал о нашей эпохе:

¹ Я была так захвачена, что, когда вернулась домой, вместе с тремя друзьями мы взялись за перевод романа на французский язык.

Сейчас наступило совсем новое время. Мы свидетели конца исторического периода, начало которого относится к 30 годам XIX века, когда человек остро ощутил себя властителем технической мощи. Марксизм играл немалую роль в эволюции последних 130 лет, особенно для нашей русской интеллигенции, которая должна была отбросить сентиментальный романтизм и открыть рационализм. Но на этом пути мы дошли до крайности, до господства чистой абстракции, во имя которой всем пожертвовали. Правда, был недолгий перерыв во время войны. Это было конечно ужасно, но все-таки жизненная энергия русского народа опять вспыхнула и встряхнула тяжесть абстракции. Она спасла нашу страну.

Он продолжал:

От Революции остался цвет, неизъяснимая музыка, музыка Блока. И Революция принесла нечто замечательное: никто теперь на свете не может верить, что деньги, полученные в наследство могут все решить и снимают долг работать для других. Мы можем гордиться этим.

Правда, сколько страданий! Это даже немислимо. Но так лучше. Со временем видно, что и страдание к добру. Без страдания нет творчества. Сейчас мы идем к чему-то совершенно новому. Какая-то сила выталкивает нас далеко из мира абстракции, и это хорошо. Туман покрывает все еще не ясные черты новой зарождающейся эпохи, но она уже наступила и нас выбрасывает вперед.

Слова его, в которых переплетались и грусть, и идеализм, и надежда, и вера в торжество жизни, звучание его голоса, блеск его глаз, когда он требовал от художника ответственности (ведь „Быть знаменитым некрасиво”...) – все эти незабываемые встречи ожили в этом прекрасном городке на юге Франции. Но как больно! Неужели я больше его не увижу?

Но из глубины сердца поднялась фраза Евграфа после смерти его брата: „Никогда, ни в каких случаях не надо отчаиваться. Надеяться и действовать – наша обязанность в несчастье...” Не пустая фраза, а выражение внутренней силы Бориса Пастернака, его отваги. Помнится, как еще до Нобелевской премии, он мне написал, что он тяжело ощущал окружающую атмосферу и жаловался на „низкопоклонство, качество, которое наш век приобрело, а оно так укоренилось, что и стало природным, естественным для целого поколения”. А в конце письма, поверх таких барьеров он не падал в отчаяние, а повторял свое глубокое убеждение: „каждая жизнь – божья повесть”².

К вечеру меня осенила новая мысль. Я сообразила, что умер он именно в неделю Вознесения, и мне стало легче на душе. Помню как я говорила об этом с моим мужем. Через несколько дней, может быть, под влиянием моего настроения, мой муж решил, что сделает скульптуру Вознесения из мрамора и нарисовал проект:

Три апостола держатся крепко за Христа, который возносится на небо. Не хотят они, чтоб Он их покинул, а Христос все понимает

² Письмо от 6-го марта 1957 г.

и смотрит на них с любовью. Тут выражались и страдание разлуки и сила любви.

Таким образом, таинственная встреча установила связь между русским писателем и польским скульптором. Да, 30 мая 1960 г. стало незабываемым днем. Не звучит он как траурная песня. Смотрю на незаконченное Вознесение, замысел которого родился в тот день, и сердце мое наполняется радостной благодарностью; слышится в душе голос дорогого Бориса Леонидовича, его призыв к жизни: „жить ведь значит всегда порываться вперед, к высшему, к совершенству, и достигать его...” – призыв к Вознесению...